



### 3. ГИППИУС

#### Дмитрий Мережковский

<фрагмент>

Мне особенно трудно писать об этих годах жизни Дм. С-ча и нашей, потому что я как раз в это время никакой последовательной записи не вела, кроме отрывочной, в первые месяцы после нашего приезда в Париж. Но мне помогут работы Дм. С-ча, сохранившиеся оттиски его даже мелких газетных статей, моя память и, наконец, неуклонная прямизна линии, которую вел Д. С. как в своих писаниях, в публичных выступлениях, так и в жизни. Ею, этой линией, определялись наши схождения и расхождения с теми или другими людьми, она же была подчас причиной все растущей тяжести этой нашей изгнаннической жизни.

Польский удар, крушение наших первых надежд, потеря главного помощника и друга, — все это не могло не произвести впечатления на Д. С. Но перенес он неудачу нашу мужественнее, чем я, и с сохранившимися надеждами смотрел вперед. Свое малодушие я не хочу оправдывать, но отчасти оно объяснимо: в Польше я могла принимать участие я общем деле, привыкла к постоянной работе (у меня даже был целый отдел пропаганды) постоянно, изо дня в день, писала в нами основанной газете «Свобода»; во всяком случае, при том ощущении «пламенного долга» для всякого помогать борьбе с большевиками, с каким мы бежали, я все-таки что-то делала. Теперь же, в Париже, деланье целиком ложилось на плечи одного Дм. С-ча. Помимо своих собственных работ, он мог выступать публично, мог писать во французских газетах; есть ли там, и какая, русская пресса, — мы не знали; но «нашей» газеты нет, и я предчувствовала, что мне там просто нечего будет делать, и даже помогать Дм. С-чу я не видела, как могу? К этому прибавлялась вечная мысль об оставшихся в аду моих близких, да и тревога за покинувшего нас друга и помощника,

Д. Ф., который попал в глупые (это уже я знала) и опасные лапы Савинкова. Надежду Д. С-ча, что друг наш скоро сам рассмотрит С-ва и вернется к нам, я не разделяла; признаюсь, считала ее даже невниманием со стороны Дм. С-ча к характеру и свойствам Д. Ф. Не разделяла и надежд его встретить помощников и серьезных хотя бы сочувственников делу нашему среди русских, новых или старых, эмигрантов. Достаточно слышали мы о новых, а старые... Бунаков с женой уже давно убежали из России, — в Париж, конечно. Но и его теперь мы уже знали достаточно. И его партию (с-ров), ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, — «все такие, как негодяй Чернов», — и где он был, *в лучшем случае*, как бы пленником. Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость. Он все-таки казался нам человеком... симпатичным, но — какие же можно было возлагать на него надежды!

Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела, благодаря заботам о ней прежней нашей горничной. Она служила у нас еще в те годы, когда жили мы на Théophil Gautier, вышла замуж, но, когда мы приезжали потом на нашу *piéd à terre* в Passy, неизменно к нам возвращалась, до последнего раза, весной 14 года. Во время войны я деньги за квартиру еще посылала (квартира, по условию между нами, была моя) — но со дня революции пересылка была невозможна. Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений. Это была, конечно, удача: ведь там оставалось много книг, разные бумаги, записи, письма... Но как все-таки больно и страшно было в нее въезжать теперь, когда все было иное и мы сами — иные, ведь мы эмигранты... Да и никогда не любила я эту квартиру, предчувственно, может быть.

Впрочем, не стоит останавливаться на мелочах, как ни неприятно это ощущение *перекошенности* окружающего: как бы то — и совсем не то.

Мои мрачные настроения и предвидения я скрывала, конечно, от Дм. С-ча, не желая нарушать бодрость его духа перед новой задачей. Да и было тут, кроме того, много моего личного, меня касающегося. Если я не видела, что буду делать я, — перед ним было много работы. Мне даже хотелось, чтобы Польша стала для него совсем как отрезанный ломоть, чтобы и откликов оттуда к нему не доходило. Это оказалось невозможным ни в первые дни нашего Парижа, ни в первые месяцы (острое время, паденье Врангеля) ни, пожалуй, целый еще год... когда после перерыва произошла в 23-м году эта отвратительная катастрофа с Савинковым. Меня с Дм. С., а как задела Д. Ф-ва! но к нам его не возвратила.

Слишком поздно... О ней я расскажу в свое время. Теперь, чтобы исчерпать первые отклики Польши, приведу несколько кратких моих парижских записей конца 20 г., м. б. 21—22, — я бросила потом записывать что-либо.

*Париж, 14 ноября (1920)*

Врангель *весь* провалился. Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Вр., будто бы, уже в Константинополе. Чего и следовало ожидать. Но вот, что любопытно... как трагический фарс: вчера бедная Евг. Ив. (жена Савинкова) приносила два письма от него, будто бы из-под Пинска. В обоих самое бодрое настроенье: «...Я уверен, что мы дойдем до Москвы...». «Крестьяне знают, что мы идем за Россию не царскую и барскую...». «В окрестных деревнях 3 тысячи записались добровольцами...». «А “Рангель” (по выговору крестьян) непременно провалится...». Кроме последнего — ото всего несет захолустной глупостью. Это Савинков с м-м Деренталь и с разбойником Балаховичем «дойдут до Москвы!» Может, и «дойдут»... или доведут их. Что может быть другое? Не так, и не такой смехотворный отряд дойдет до Москвы. У б-ков армия, пушки... За них — Англия... Франция еще как будто против... но «как будто», да и что она может? Погрязает в абсурдах: признает Врангеля — и поощряет польский мир. Большевики и не скрывали, что мир с Польшей их устраивает, — надо покончить с Врангелем.

Ну, дойдет очередь до Польши? Продала себя — даже не за золото, а за б-цкие и английские золотые обещанья.

Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с б-ками Ллойд Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они «научать Европу уму-разуму», как только что объявил Троцкий. А под конец прочтат они и всех своих союзников самих...

*16 ноября*

Всесметающая лавина большевиков под личным командованием Троцкого (главнокомандующий товарищ Бронштейн) уже в Севастополе. Это лишь первая реализация варшавской дряни (мира) в Риге.

Д. Ф. не пишет ни строки. Ждет вестей от м-м Деренталь и Савинкова из Москвы? Я ему писала, и здесь скажу, что знаю и с чего мы с Д. С. не возвратимся. Наша прямая, почти грубая линия пониманья, которую мы вывезли «оттуда», проста и — непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и

даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами *новой* России (не с лозунгами одних «не», как у Савинкова), 2) при непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.

Вот — и больше ничего. Остальные детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что все данные южные наступления бесплодны. От этого знания и пошла вся наша Польша, и все, все... От этого же знания мы не сомневались, что б-ки лопнут при первом ударе Польши. Это и случилось в 7 верстах от Варшавы... Так называемое «чудо на Висле». Чему удивляться бы, как «чуду» — это униженным, после того, просьбам Польши мира у большевиков. Одно объяснение: приказ Европы. И Польша не смела послушаться. Ну, ладно. Время-то идет. Как бы его — для себя — Европа не пропустила...»

25 ноября

Письмо от Д. Ф. (через Petit). начинающееся так: «Сегодня написал Борису (Сав.), категорически требуя приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг...» (!) Вот свидетельство, что Дима (Д. Ф.) абсолютно не понимает степени непопулярности здесь С-ва. Он, если у него кто и был, успел всех от себя оттолкнуть. Недаром я еще в Польше писала: «наверно он, приехав, уже сжег за собой корабли, даже шлюпки. Никого, боюсь, за ним в Париже нет». А Дима и о сию пору ничего не понимает. Пишет еще, что «положение невероятно трудное. Пилсудского травят... А он, — прибавляет Дима, — в мир не верит, но войны вести не может». (Не приказано? думала я). «Нахохлившийся больной орел»; по словам Димы. Не пишет, однако, о том, что мы узнали сегодня: украинцев бьют, а за Балаховича большевики принялись вплотную, остатки его накануне ликвидации. Вот тебе и Москва! Англия — накануне «признания», поэтому, думается, на Польшу *сейчас* они не полезут.

17 декабря

На днях приехал сюда посланцем от Савинкова его подручный Дима (Д. Ф.). Как странно мне это писать! Неужели и Дима — «оборотень»? Савинкова мы еще могли не сразу понять, он, может, и не оборотень, а всегда был таким... пустым местом. <...> Дмитрий, как за него боролся, каким всегда видел (и до сих пор, считая его соединение с Сав. временным несчастьем!) Значит, он

был собой, не тем, каким обернулся, когда «инкрустировался в Савинкова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти лет совместной жизни! «Мне не нужны помощники, — сказал однажды Савинков, при мне, Дм. С-чу, в Варшаве, — мне нужны исполнители!» Это было так глупо (ведь даже и думая это — глупо говорить!), что мы промолчали. И вот Дима поступил в «исполнители», — и чьих приказов? Ослеп и сделался «оборотнем».

Живет он где-то в гостинице, приходит к нам изредка. Рассказывает мало, мы знаем только, что дело, за которым он приехал — достать денег для интернированного в Польше отряда Савинкова—Балаховича («я уверен, что мы дойдем до Москвы!») — Это дело не удалось.

Вчера Дима не был даже на первой лекции Дм. С-ча в Salle Danton. Много народу, слушали внимательно. Лекция, конечно, по-французски. (Потом она вошла первой статьей в книгу Д. С-ча «Царство Антихриста», под заглавием «Европа и Россия»).

На днях «посланец» С-ва уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. «Неблагословенность наших дней»... Еще бы! А что будет дальше!

Отсюда я начинаю просто рассказ о нашей эмигрантской жизни, записи мои, с откликами о Польше, прекращаются. В дальнейших, тоже отрывочных и кратких, кое-что о Варшаве и варшавянах отмечено, и даже весьма немаловажное, но все это я введу в рассказ. Манерой дневника передавать не буду.

В Париже мы встретили немало старых знакомцев русских, немало и новых. Некоторых «новых» эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России, или видели мельком, — Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. А с таким большим писателем как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе. Был тут и не виденный нами раньше Милюков (Д. Ф. как близкий сотрудник газеты «Речь» знал его в Петербурге хорошо). Он еще не сделался тогда владельцем недоброй памяти «Последних Новостей», но газета уже выходила: ею заведывал Гольдштейн, адвокат, защищавший когда-то Дм. С-ча на его суде за «Павла I». Оказалась тут и еще одна русская газета, «Общее дело», сразу пришедшаяся Дм. С-чу больше по вкусу. Редактором был старо-новый, или ново-старый эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне — до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках. К боль-

шевикам он был «непримирим», а потому газетные статьи свои начал писать Д. С. в «Общем Деле» (как и я).

Но не для газетных же статей так стремился Дм. Серг. в Европу. Статьи — дело попутное. Я поистине удивлялась заряду его энергии в это время в Париже. Все люди, казалось ему, на что-то самое нужное нужны, причем он верил, что не могут они не быть вместе, не чувствовать правды, которую чувствует он: слишком она явная, бесспорная. Он начинал понимать, что европейцы, французы, не так-то скоро и легко уразумеют, что такое большевизм. Но в русских не сомневался. Да, сказать по правде, в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество — старшее поколение — внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду, все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Дм. Серг. еще затеял, у нас, какое-то сообщество на религиозных основах: но, в обычном (или даже необычном) увлечении своем, собрал вместе людей, по существу, для этого неподходящих, почему из затеи ничего и не вышло. В то же время, отчасти благодаря его блестящим публичным выступлениям, отчасти потому, что имя его (особенно по роману Léonard de Vinci) было во Франции известно, а приехавший откуда-то, где что-то творилось, он был «новинкой» — мы с ним стали попадать, как в Варшаве, к разным «контессам»; раньше, когда жили в Париже, мы туда не ходили, да ими (как и они нами) не интересовались. Но французские литературные круги были нам теперь почему-то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекошилось (это мы переместились, но куда — еще не успели понять).

Из ранее не знакомых нам эмигрантов ближе всех был нам старик Чайковский. Он был в начале года с Савинковым в Варшаве, потом ездил один к Деникину (когда тот погибал). С Савинк. он разошелся, без ссоры, кажется, — но не любил о нем говорить. Принадлежал он к старшему поколению революционеров-народников (обычно жил в Лондоне, где года через два-три и умер). Его поколение, казалось, было самое атеистическое. Я многих современников его еще застала в Петербурге и писала о них, называя, впрочем, их атеизм, в отличие от атеизма последующих, материалистического, — атеизмом романтическим. Эти «последующие», революционеры, и вообще всякие «левые», без различия партий, сохранили свою, — по меткому названию Д. Ф., — «богобоязнь» — неприкосновенно, несмотря ни на что, до конца жизни. Из этого правила были исключения: тогда «левый» бросался в православие, вообще делался прозелитом, крестился, если

был еврей; а то даже делался священником. Но Чайковский не был ни романтик, ни клерикал, а настоящий религиозный человек. Мало того: его христианство окрашивалось чем-то новым: он говорил о троичности, о Духе, притом без всякого условного догматизма. Не мертвыми устами повторял эти догматы, т. е. не как статьи закона, — он не был прозелитом. Чувствовался в нем, конечно, моралист старого закала, отвычка от России, незнакомство с ней в последние годы... Но религиозность его была самая подлинная и не банальная, что при его возрасте и биографии казалось даже удивительным.

В Париже в это время существовало Русское Издательство, которое так и называлось Изд-во Полнера-Чайковского. Д. С. и я в него, конечно, тотчас же попали (Полнера мы знали еще по Петербургу). Там был издан роман Д. С-ча «14 Декабря» и одна книжка моих рассказов, выбранных из нескольких книг, изданных в России, и здесь, в Париже, найденных мною у знакомых.

Рассказывать жизнь нашу по годам очень трудно, почти невозможно, да м. б. и ненужно: она скорее укладывается в пятилетия. Я буду отмечать, конечно, что было в «первое» время, но было ли то или другое в 21 г., было ли оно в 22-м — это я могу спутать, если даты не важны. Годы событий более или менее значительных я, конечно, знаю. Не особенно значителен, но любопытен был наш (эмигрантский) обед с Эррио и другими французами в Интернациональном Клубе, по почину давнего знакомого нашего проф. Поля Бойэ — в зиму 1920—1921 года.

Кроме нас и Бунина был там, из русских, не помню кто, помню только молодого Алексея (Алешку) Толстого, который был тогда тоже «эмигрант», и даже бывал у нас и у других. Кстати, чтобы к этому типу уже не возвращаться, скажу здесь, что это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, *je m'en fichiste*\*, при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую Мысль» (в 10—11 году), я отметила его первую вещь, — писателя, никому не известного. Но потом в России мы с ним так и не встречались, и что он делал, где писал — мы не знали. Но, должно быть, он не дремал и, если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в СПб-ском моем дневнике отмечен, как один из абсурдов во время войны 14-го года, посылка правит. делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый, почти невидимый «Алешка» и — старый знакомец наш, бывший секретарь Рел.-Ф. Собраний, Ефим Его-

\* вертопрах (*фр.*).

ров; когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся в «Новом Времени» Суворина, и которого милый В. Тернавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация» — осталось навеки неизвестным.

Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что место сие не злчное и, в один прекрасный, никому не известный день, исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам, и др. С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал — неизвестно еще, как был бы встречен; но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел — и при Ленине, и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званьи эмигранта; встреч с этим сословием он, конечно, избегал, — с честными кругами.

Тогда, в 20—21 году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность, — как от нее без опыта избавиться?

На том обеде в Интернациональном Клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были речи; говорил, кажется, только Дм. Серг. и Эррио (м. б. ошибаюсь, но помню этих двух). Из русских и некому было выступать: Бунин французским языком не владеет и вообще не оратор. Что говорил Дм. С. — в точности я не помню, но можно себе представить. Речь Эррио была самая любезная, благожелательно-обещающая: «*on ne vous lachera pas*» \* — несколько раз повторял он (французы такие способные ораторы!). После обеда Д. С. и я говорили-болтали с присутствовавшими французскими журналистами и писателями. Помнится, был там критик из Temps, кажется, и Henri de Regnier, высокий, тихий, седовласый.

Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня...»

— Да что же вам простить? — удивилась я.

— Простите... что я существую.

Сказал неожиданно, экспромтом, забавно... Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли.

К тому же первому времени Парижа относятся завязавшиеся связи Дм. С-ча с молодым французским издательством Roche-

\* вас не оставят (фр.).

Bossard. Там издан был, прежде всего, наш сборник «Царство Антихриста», «14 Декабря» Дм. С-ча и еще другие его книги. Потом мой роман «Чертова Кукла» (еще до войны переведенная на французский язык), и должен был выйти второй роман, как бы продолжение первого, вышедший перед войной в Москве, но я уступила очередь Бунину: он тогда только что начинал печататься по-французски, и нам с Дм. С. хотелось, чтоб он выпустил не одну, как думал Bossard, а сразу две книжки. (Замечу в скобках, что эта моя очередь так и не пришла: роман совсем не вышел. Очень скоро у нас наступила крайняя нужда в деньгах, Bossard кончился. Дм. С. стал продавать, за что попало, свои книги другим издателям, а я в газетах зарабатывала такие гроши, что заплатить сразу 1000 Шевремону за перевод мы сочли неблагоприятным.)

Так, довольно смутно, со встречами новыми и старыми, прошла эта первая зима. На лето мы, по совету многих, поехали в Висбаден, оккупированный тогда французами. Там было очень хорошо, — как всегда на немецком курорте. Оккупация ничего не нарушала, население (побежденной страны) было совершенно спокойно, без всякой вражды к оккупантам, даже когда по улицам с музыкой проходили войска победителей.

В Висбадене Дм. Серг. вплотную занялся Египтом — для давно намеченной книги. Мы посетили тамошнюю прекрасную библиотеку. Дм. Серг. пришел в восторг от увесистых фолиантов с рисунками в красках, которые он там нашел. По неумению работать часами где-либо, кроме своей собственной комнаты, он должен был бы от них отказаться, если б не любезность культурного директора библиотеки, который предложил присылать ему выбранные книги на дом. И в дальнейшем служитель привозил нам эти книги — так они были громоздки — на тачке, а жили мы в отеле на горе, над Висбаденом, на Нероберге.

Целые дни после рабочего утра Дм. С. проводил в густых лесах, кольцом окружающих Нероберг. Признавался мне, что часто даже забывает, что лес этот — «чужой». И правда: так же лес этот был глух, темен, почти дремуч, как иной русский, так же и пахло в нем, — листом палым, грибной сыростью, лягушками невидимыми, свежестью и прелью...

В Висбадене мы получили первую весть, через Варшаву, о моих сестрах. Они живы! Какое было облегченье! К осени — известие, что умер Блок. Подробности его страшной смерти мы еще не знали. Но уже многое видели, что позволяло их угадывать. И я тут же задумала серьезно написать о нем, и мы стали с Дм. С. постоянно о Блоке говорить. Д. С. очень любил его, несмотря на слу-

чавшиеся между ними споры. Они, между нами и Блоком, всегда кончались благополучно.

В августе в Висбаден приехал Бунин с женой и поселились в том же отеле, на Нероберге. С Буниным, как я уже сказала, мы не встречались лично в России. Он был москвич, а талантливые писанья его, которые мы, конечно, знали и ценили, были как-то не в том течении последнего петербургского периода, в котором находились мы. Теперь, встретившись в Париже, мы сблизились как разделяющие ту же «юдоль» изгнанничества, притом одинаково (почти) относящиеся к России и совершенно одинаково к большевикам. Но он был человек особого склада, ранее нами близко не виданного — среди писателей петербургских и наших кругов вообще, — а потому особенно меня заинтересовал. И вот, я помню, в Нероберге, после ужина, всякий вечер я начинаю с ним бесконечные беседы в моей большой комнате, стараясь рассмотреть его сердцевину, чем он живет, что думает, чему на службу отдает свой талант. Интерес к «человеку», к «личности» вечно толкает меня к таким выяснениям себе того или другого, а если, в конце концов, они мне не удавались вовсе, или я ошибалась и создавала себе образ неправильный (что случалось часто), это уж просто у меня «талантишку не хватило», по выражению Д. Ф. А бескорыстных стараний всегда было много.

Относительно Бунина я, впрочем, поняла, — по тогдашней моей записи, что «он весь в одних ощущениях, но очень глубоких». И далее прибавлено: «Никогда не забуду, как он читал это потрясающее письмо из Совдепии, подписанное кровью матерей (буквально)».

Это письмо Дм. С. получил как раз в Висбадене. Обращение «ко всему миру» нескольких (больше 20-ти, кажется) женщин из сов. России, с непередаваемо сильной просьбой, мольбой спасти не их, а их детей, которым грозит духовная и телесная смерть. «Возьмите их отсюда, из этого ада! Мы погибаем, погибли, но это все равно, мы молим весь мир спасти детей наших!» Подписи были сделаны действительно кровью, некоторые углем. Д. С. потом напечатал это письмо, действительно страшное в русской газете «Общее дело».

Казалось, мы уж ко всему привыкли, замозолилась душа. Но это письмо не могли мы читать без ужаса. А что же «мир», к которому обращались эти матери? Д. С. сделал много, чтобы вопль этот не остался ему неизвестным. А мир... да ничего. Просто ничего.

В Буinine, казалось мне, при его тончайших ощущениях окружающей внешности, есть все-таки внутренняя нетонкость по-

ниманья личности, — человека. Кроме того, и в литературе (или шире) он, при большом его таланте, имеет какую-то границу понимания. Он слишком в прошлом. Это я видела в разговорах наших о Блоке. Он его не чувствует ни как человека, ни как поэта. Мне это было жаль.

В Висбадене мы познакомились с Кривошеиным. Министр, не успевший сделаться министром перед революцией, как слишком «либеральный», по мнению Николая II и, главное, царицы. А его очень прочили. Но, конечно, умеренный либерализм его ничего бы не спас. Да и было поздно.

Потом, когда Бунины уже уехали, в Висбаден приехал Гессен из Берлина, редактор уже там основанной газеты «Руль». Дм. С. и я — мы писали в ней несколько раз, Гессен относился к нам недурно, через год издал даже мою книжку последних стихов, но в общем нам было не по дороге: Гессен — партиец, к. д. (мы его знали в Петербурге), газета «Руль» — умереннее, чем в начале Милюковские «Последние Новости». В Висбадене (он остановился там же, в Нероберге) в беседе с нами, он сказал как-то: — Не могу простить себе, что в начале, только что приехав в Берлин из советской России, я был — за интервенцию!

А так как Д. С. и я, мы были и в начале, и в конце, и всегда «за интервенцию» — то мы этой беседы и не продолжали.

